

ЮРИЙ УБОГИЙ



ВРЕМЯ ВОКЗАЛА

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Новоафонская пещера так громадна, что не веришь глазам своим — не может быть! А ещё и обустройство сложное смущает и запутывает душу — узкоколейки, вагончики её полуигрушечные, подсветка разнообразная, подвижная, трепетная, музыка возвышенная, но ведь подземная, на волю просящаяся... Толком и не поймёшь, то ли ты в сокровенной глубине природы вдруг оказался, то ли во вполне рукотворной, карнавальной какой-то обстановке... Но в душе среди всей этой сумятицы замрёшь, поражённый, увидев стремящиеся друг к другу сталактит и сталагмит. Сталактит сосулькой огромной свисает с потолка пещеры, с конца его острого капли падают мерно и быстро, попадая на острие сталагмита, растущего снизу, навстречу, со дна пещеры. Целые миллионы лет, может быть, сталактит и сталагмит наращиваются капелью из раствора насыщенного и тем тянутся друг к другу, чтобы встретиться, в конце концов, ещё, возможно, через миллионы лет. И понимание тяги этой взаимной осознаётся, переживается тобой с сочувствием мгновенным. Это ж любви некой первичной набросок в минеральной, мёртвой природе. Да и мёртвой ли?

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В "Нашем современном" публикуется с 1978 г. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

* Продолжение. Начало в №10 за 2014 год, №9 за 2015 год, №11 за 2016 год.

* * *

Габриэль Гарсиа Маркес, автор знаменитого романа “Сто лет одиночества”, Нобелевский лауреат, встретил двенадцатилетнюю девочку Мерседес, когда ему не было тридцати. Влюбился, дождался возраста возможности вступления в брак, женился на ней и прожил всю жизнь. В конце жизни страдал полной потерей памяти (болезнь Альцгеймера) и узнавал только её. Она и приходила ежедневно в клинику с утра, садилась на видное ему место и сидела с вязаньем там весь день, уходя домой на ночь. И так годы целые. Как грустно завершение этой любви и как прекрасно!

* * *

Девочка лет десяти еле-еле по асфальту бредёт на роликовых коньках, растопырив для равновесия руки. Потом с асфальта на травку перебирается, по ней шагает гораздо увереннее... Вспомнилось, как я впервые на коньки встал — в комнате, где мы жили. Долго ходил, пошатываясь, из угла в угол, истинный восторг испытывая при этом, — я на коньках! Какая же сила воображения быть должна, чтобы такой прогулкой восторгаться?! Разве что любовь на подобное способна, делая красавицу из дурнушки...

Коньки в нашей ребячьей жизни занимали третье место после лыж и велосипеда. С горок, а то и с целых гор обледенелых мы на них “гоняли”, за задние борта грузовиков цеплялись проволочными крючками, проезжали “на прицепе” сколько могли, по первому льду, трещащему и прогибающемуся, проскакивали на речке с берега на берег. Я сквозь лёд и провалился однажды, хорошо, на неглубоком, по грудь, месте. Помню удивление, с которым бежал домой — было гораздо теплее, чем должно было бы быть. И второе удивление помню — матушка не ругала меня, а хлопотала вокруг с причитанием. Догадался, что это от испуга, — утонуть ведь мог...

В первую студенческую зиму пошёл на каток впервые, взял напрокат коньки с ботинками и жестокое разочарование испытал. Ботинки не валенки, к которым мы в детстве коньки привязывали накрепко. Коньки с ботинками вихлялись с непривычки, голеностоп начинал болеть через несколько минут, и приходилось на снег выходить, стоять, отдыхая.

А каток был хорош — девушки, огоньки мигающие, разноцветные, музыка... Одну песенку до сих пор помню: “Догони, догони!” — ты лукаво кричишь мне в ответ...” Хорош был каток, но больше на него я так и не пришёл. Стыдно было вновь учиться катанию на коньках после своих детских подвигов...

* * *

Каждому, конечно, выпадают ночи особенно тяжкие и одинокие. В болезни, в горе большом, неизбежном. Вот в такие ночи, как в окопах, атеистов, скорей всего, нет...

* * *

“Если есть “Троица” Рублёва, значит, есть Бог”. Флоренский. Сказал это не художник, в искусство своё погружённый, а математик, физик, экспериментатор, богослов... И ведь веришь сказанному как-то мгновенно, до размышления ещё, лишь вспомнив “Троицу” и, тем более, глядя на неё. А потому, что свет от неё исходит Божественный, гармония, покой... Не мог человек лишь сам по себе, один такое создать. Боговдохновенная она, “Троица”, что и понимаешь с полной очевидностью.

* * *

Какая двойственность огромная в слове “никогда”. Удивительное слово, относящееся то ко всему плохому, то ко всему хорошему. “Никогда больше не будет так больно и одиноко”, — одно и “Никогда больше не встретиться нам” — совсем, совсем другое.

И второе действует гораздо сильнее. “Никогда не встретиться...” А в мире ином? Надеяться лишь можно робко...

* * *

Узнал недавно, что по понятиям католиков душа человека, в ад попавшая, остаётся там навсегда, а у православных есть надежда и возможность освободить её оттуда, вымолив близкими, болеющими о ней людьми. Разница огромная, и сколько споров богословских наверняка было по этому вопросу. Но и ещё есть вопрос — приближает ли изучение богословия к Богу, даёт ли веру, укрепляет ли её? Сомнительно. Можно предположить даже, что как раз наоборот. Вдруг тут по известной пословице “Чем дальше в лес, тем больше дров” получается? И на месте найденного ответа на вопрос два новых возникают? И представляется, что вера как таковая в сути своей одной и той же быть должна — и у богослова, утонченно-глубокого, и у простеца, про богословие даже и не слыхавшего. Вера — она вера и есть, в конечном счёте, от степени ума или образованности не зависит.

Тут притча вспоминается, в районе Белого моря бытовавшая. Жили три древних старца на маленьком острове, и была у них одна молитва: “Трое вас, трое нас, помилуй нас”. Приплыл к ним на корабле священник, узнал про такое и научил их молитву “Отче наш” читать. Долго старцы её учили и, наконец, выучили. А когда корабль от острова стал отплывать, священник увидел вдруг, что все три старца по воде, аки посуху, вслед бегут, корабль догоняют. Оказалось, забыли молитву, напомнить просят. Поразмыслил священник, да и сказал, чтоб молились прежней своей молитвой, что этого им вполне достаточно.

Вот и у Толстого в старости сильно ослабела память, но он этим не очень-то и огорчился. Записал в дневнике, что это даже к лучшему: неважное забываешь, остаётся один настой. Мысль для всех стариков утешительная, только вот жаль, что качество “настоя” этого — не толстовского разлива...

* * *

Воронеж, зима, пригородный парк, постепенно в лес переходящий. Бежал на лыжах прямо на закат, который был такой мощи и красоты, что остановиться пришлось, посмотреть на всё вокруг поподробней и повнимательней.

Солнце искрит сквозь стволы, снег розоватый, тени глубокие, чёрные, с добавкой синевы... Прекрасно всё так, что даже тяжело становится и особенно как-то одиноко. Отковырнул бездумно кусочек зеленоватой коры с осинки, пожевал, поёжился от терпкой, свежей горечи чудесной. И стало так, будто словом с кем-то перемолвился...

Полсотни с лишним лет назад это было, а вспомнилось, как вчера.

* * *

Стою ранней весной на железнодорожной насыпи, а впереди поле белое, снежное, и две на нём проталины рядом — чёрные, как глаза земли, открывшиеся вдруг. А над полем — небо облачное, и в облаках — синие, яркие просветы, неба глаза. Вот и встретились, наконец, после зимней разлуки

долгой. Много им сказать друг другу нужно и много сделать совместно до новой, к зиме, разлуки.

А если человеческие глаза, чёрные и голубые, встретятся вдруг и начнётся, пойдёт с первого этого взгляда любовь? Любовь? Сколько же тут будет всего, побольше, пожалуй, чем у неба и земли! И разлука будет когда-нибудь, не до весны следующей, а навсегда...

* * *

Из сора всякого-разного растут стихи, по мудрому слову Анны Ахматовой. А мудрость в том, что “сора” с научной, физико-химической точки зрения и нет совсем в природе. Есть тот же физико-химический состав всех предметов и веществ Вселенной. И прекрасная, голубоватая, мерцающая звезда любви Венера состоит из тех же молекул, атомов и элементарных частиц, что и содержимое мусорного бачка. Разве что в бачке набор атомов и молекул будет побогаче... И в жизни душевной человеческой нечто подобное. Очень близки, а в самой-самой глубине одинаковы чувства царя и пастуха, полководца и солдата. И суждения о сущности природы человеческой, высказанные великими мудрецами и учёными, равно касаются всех, всех, всех. А уж перед Богом все равны тем более. Есть в этом некая высшая справедливость и утешение глубокое, последнее, несокрушимое.

* * *

Есть поразительная съёмка, сделанная с космического аппарата, улетающего за пределы Солнечной системы в глубины космоса. Снимается непрерывно Земля по мере её удаления. Вот она в экран ещё не вмещается, рукой, кажется, подать. И так в ней всё знакомо, так же почти, как знаком тебе твой город, улица твоя, дом твой... Моря, озёра, реки, горы, равнины. И начинает казаться, что ты везде жил-был, настолько всё близкое и родное. Но уходит и уходит оно, уменьшается, сливаясь одно с другим, очертания теряя. И всё, что было на ней, родной Земле нашей, уходит вместе с ней. И твоя жизнь, и жизнь каждого на ней человека, живущего сейчас и жившего когда-то. Все радости и горести, все поражения и победы, вся ненависть и вся любовь... И наскальные изображения уходят, и пирамиды, и “Мадонна Литта”, и “Сороковой концерт”, и “Война и мир”, и “Я вас любил”... А вот Земля становится лишь кружочком голубоватым, а вот просто точкой светящейся, но исчезает и она...

Хорошо бы этот уход, этот “улёт” от нас нашей Земли всему человечеству каждый день показывать. В напоминание и назидание. Большая была бы от этого для души и дел человеческих польза. Спасение даже, может быть...

* * *

В послевоенные годы особенно много было в обиходе фольклорного, народного и, к сожалению, нецензурного, чаще всего песенки и песни, стишки и стихи длиннейшие, баллады целые; шутки-прибаутки, изречения мудрые, сдобренные матерком. Всё тут было: смешное и трагическое, забавное и похабное, дурацкое и горькое. Целая жизнь народная, народом же и запечатлённая. Кое за что сказанное-спетое и посадить могли на серьёзный срок, да и сажали. “Ой, Семёновна, баба хитрая, // любила Сталина, а потом Гитлера...” Или озорные, с перцем: “Мою милку ранили // посреди Германии, // вместо пули... задули, // в лазарет отправили”. А вот начало долгого рассказа про загубленную жизнь: “Хоть я слепой, но вас я вижу, у вас копейчку прошу...”

Поездив потом по России, взрослым уже человеком, увидел, что весь этот фольклор полуподпольный, в самых разных, далёких друг от друга местах,

был примерно одинаковым, доходившим до самой глуши, вроде моего родного Тима. Как получилось это великое его шествие по громадной стране? В тетрадках-бумажках, из уст в уста? Разумеется, но как-то этого маловато кажется для мощного такого размаха-охвата. Нечто чудесное начинает представляться тут, и пословица подходящая приходит на ум: “Слухом земля полнится”. Может, и полнилась, особенно тогда, помогала народу выразить плач свой, и смех свой, и душу свою...

* * *

Экстрим теперь в моде, и мне это вполне понятно: прыгал в студенчестве на лыжах с трамплина. После первых прыжков ждал очередной тренировки, как свидания любовного ждут. Причина тут в кайфе, который эндорфины, внутренние наркотики, дают, их выброс в кровь в экстремальной ситуации. Вот и “подсаживаются” на это люди, как наркоманы на иглу. Много, предельного физического и эмоционального напряжения требующее, этот эффект кайфа даёт. Даже в деле литературном нечто похожее есть. Написал быстро и азартно хороший вроде бы кусок текста и словно грамм сто водки натошак выпил — весел и дурашлив становишься.

Зачем же устроено так Богом или природой? А для поощрения поступков смелых и трудных. Сделал — и награду тут же получил. Да и оргазм любовный тут тоже рядом стоит. Акт продолжения рода совершаешь, в нём уже и награда за это тебе в конце припасена...

Есть тут что-то печальное, оскорбительное даже для человека, словно все мы на крючке удовольствия поощрительного висим-болтаемся. А без него если? А без него в иную, высшую, духовную сферу надо подниматься-уходить, из рабства “химии” освобождаться. В молитву, в созерцание природы чистое и безмятежное.

* * *

Бунин писал Телешову, что он “стар, сух, сед, но ещё ядовит”. Прочитав, подумал, что “ядовитость” относится к его характеру, восхитился даже откровенностью такой. Но, конечно, нет! К способности сохранившейся писать, творить это относится. Говорят же о человеке, с иссякшим талантом, что он теперь, как змея, пережившая свой яд. А Бунин, стало быть, свой “яд” ещё не пережил, о чём и сообщил старому приятелю. Не без гордости, пожалуй. И ясно так представляется, насколько же он потери “яда” этого боялся! Как смерти почти. Да так оно и быть должно для каждого истинного художника.

* * *

Три маленьких чуда детства.

Божья коровка с их милой кротостью, овальностью аккуратной тельца, спинками красными или жёлтыми в крапинку. Вот ползает она, коровка, по ладони, чуть ощутимо щекоча кожу лапками, вот по пальцу вверх-вверх поползла, на самом его кончике оказалась. Замерла, и вдруг спинка её выпуклая треснула вдоль, и появилось нечто тончайшее, серенькое, развернулось в крылышки. На них-то она и улетела, исчезнув мгновенно. Куда? А на небо, куда ж ещё... Мы ведь ей так говорили перед полётом: “Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают котлетки. Им по ложке и себе немножко”. Вот это “и себе немножко” нечто совершенно удивительное, ангельское прямо-таки. Мы словно догадывались смутно, что такое милейшее существо себе может ничего и не взять...

Кузнечики серенькие, маленькие, а ещё и большие, зелёные — кобылки. В кобылках и впрямь было что-то лошадиное, в ногах задних мощных,

голенастых. Они упрыгивали, едва откроешь ладонь, и так далеко, что не уследить, не найти потом было. Придержав же кузнечика, приговаривали: “Кузнец, кузнец, дай дёгтя”. Иногда он и давал — коричневую такую капельку... Чуть разожмёшь пальцы, и кузнечик исчез, упрыгнул-улетел, но не на небо, конечно. Не было в них ничего “небесного”, в отличие от божьих коровок...

Стрекозы — серые, синие, розовые. В руки они редко попадали и как-то разочаровывали особенной хрупкостью крылышек, червеподобным тельцем... Зато смотреть на них в полёте можно было подолгу. То останавливались они, как вклеенные в воздух, то вдруг “стреляли” далеко в сторону, останавливались и там. Или просто летали, как придётся, завораживая силой своей, бирюзой, и трепетом крыльев. Некоторые парами даже летали подолгу, сцепившись каким-то не ведомым нам образом. А мы и не знали, что это у них любовь...

* * *

В начале 50-х годов прошлого века эротические сцены или не снимали в кино, или вырезали, если фильм был иностранным. Даже поцелуя толком увидеть было нельзя: он или в воду “опускался” с рябью на ней, или картинка менялась при сближении губ.

И вдруг польский фильм “Под фригийской звездой”. Герои на травку присели, а потом и прилегли, не касаясь друг друга. Перебивка — и тут же женская кисть на траве крупным планом. Шарит, ищет что-то, потом пучки травы жадно захватывает, напрягается медленно, потом ещё, ещё сильнее — и выдёргивает траву из земли. И расслабляется, распускается блаженно ладонью вверх... И всё.

Запомнилось так подробно и едко, потому что впервые в жизни я не просто нечто откровенно эротическое, а именно акт плотской любви словно бы увидел и пережил глубже, может быть, чем если бы его целиком показали. Какая же сила в таком вот штрихе, намёке! Что-то даже вообще для искусства принципиально важное тут есть.

Потом пришлось повидать много уж такого откровенного, но кисть женская, белая на зелёной траве так и осталась по воздействию едва ли не сильней всего.

Или о том же, но из поэзии, из Тютчева: “...и меж опущенных ресниц — угрюмый, тусклый огонь желанья”. Какая точность, какая правда! И как действует тонко и глубоко!

* * *

“Что войны, что чума — конец им виден скорый, им приговор уже произнесён, но как нам быть с тем ужасом, который был “бегом времени” когда-то наречён”? Анны Ахматовой прекрасные стихи, только вот с приговором войнам она сильно, к сожалению, промахнулась. Какой уж там приговор! Новый виток их идёт, набирая силу. И как бы страшнее предыдущего, не дай Бог, не оказался, в конце концов.

* * *

Многих поразил небывалый, рекордный по посещаемости успех выставки картин Валентина Серова в Третьяковке. Обсуждали его, причины искали, а главная, конечно, в том, что люди устали от выдумок натужных, от уродства и юродства, от наглости безразмерной и прочих прелестей так называемого “современного искусства”, изобразительного в том числе. Вот и рванулись прямо-таки, как к глотку свежего воздуха, к живописи, показывающей счастье жить в мире, каким он нам Богом дан. К “Девочке с персиками”

рванулись. К собственной, в сущности, жизни, прекрасно изображённой в лучшие её минуты...

* * *

День сегодня такой красоты, такой гармонии и совершенства, что это смутное чувство неловкости вызывает и даже вины по разнице резкой с собственным телесным и душевным состоянием. Не по чину честь! А если представить себе, что мы творим с природой, то впору и сквозь землю провалиться...

Недавно авиакатастрофа произошла с гибелью всех летевших, и в исследовании её причин одной из главных предположили сильнейший порыв ветра. Судло самолёт с неба, попросту говоря, и есть в этом что-то символическое...

* * *

Стоит у меня перед письменным столом, на подоконнике маленькая статуэтка Будды. Руки вскинута вверх, на лице — радостная, от уха до уха, улыбка. Возможно, скульптор изобразил его в тот именно момент, когда самая суть его учения, уход в nirvanu, открылась вдруг ему. Тогда он, по преданию, и воскликнул: “Радуйтесь, освобождение от смерти найдено!” Тут нельзя не подумать, что nirvana-то как раз очень смерти близка, до слияния почти. Смущает и то, что Бога у буддистов нет, а какая же религия без Бога? Главный вопрос человеческий — кто создал мир и в чьей воле он находится? — тогда неизбежно остаётся без ответа.

И всё-таки есть в буддизме нечто очень привлекательное. Может, предпочтении явное созерцания перед действием? Созерцать-то куда как приятнее и легче, чем действовать.

Удивительно влияние буддизма на народы, его исповедующие, — они радостны и очень бедны. Бедность-то понятна, созерцая мир, не разбогатеешь, а вот радость откуда берётся? От той же созерцательности, возможно, которая резко уменьшает заботу и ответственность — главное бремя человеческое. Кстати, мудрость одна наша народная весьма буддизму близка: “Аки наг, аки благ”.

* * *

“Пока живу, надеюсь”. Вот и Чехов с Булгаковым, врачи, понимавшие, конечно, неизбежность своей скорой смерти, всё-таки надеялись на чудо вопреки рассудку. Умиравший Чехов хотел переехать из Германии на юг, где жарче, очень надеясь на перемену климата, и даже белый костюм для этого себе заказал, а Булгаков, отказавшись от общепринятой медицины, стал лечиться у гомеопатов, ожидая от этого решительного улучшения. Вот и у них, врачей и людей очень трезво всё видящих, сердце, вечно глупое сердце человеческое, в смерть не верило, веря только в жизнь...

* * *

Видел по ТВ совокупление самых больших и тяжёлых (до 300 кг) черепах. Жуткое дело! Кажется, даже невозможное, но ведь делается, в конце концов, как-то... Да только ли черепахи в таком положении? А слоны, бегемоты, киты... Долго перечислять можно. И это при том, какое внимание огромное уделяет природа делам добычи и защиты у всех живых существ. Чудеса прямо-таки настоящие творит! А тут, в самом важном для продолжения рода деле, совокуплении, словно махнула рукой небрежно — да обходитесь, как хотите... Влечение к этому в вас вложено сильнейшее, а значит, как-нибудь да разберётся. И ведь разбираются!

* * *

Поразительной душевной силой обладал Василий Васильевич Розанов. Незадолго до смерти, лежа в параличе, диктовал дочери продолжение “Апокалипсиса нашего времени”, приговаривая при этом: “Ну, ещё на рубль напишем, ну, ещё!” А лет примерно в 50, когда тяжело заболела жена, которую он нежно любил всю их долгую жизнь, записал: “О, как не хочется теперь ничего. О, как не хочется!” Поразительно — сделать такую запись с такой энергией! Умирая же, весь в холодном поту, сказал, как истинный художник: “Это воды Стикса, я узнаю их...”

* * *

Редкое по мощи в этом году цветение садов. Смотришь на яблони, и кажется — улететь в небо могут вот-вот, как воздушные шары.

У нас на Куршине говорят по такому поводу: как бы не к войне. Вот уж вьелась она, война, в душу народную, если даже до такой красоты небесной добралась...

* * *

“Я хочу жить, как бедный, но иметь деньги”. Пикассо. Как просто и как мудро! Да он так и прожил, пожалуй, всю свою долгую жизнь. Работал, не покладая рук, до самого конца. Вот и Гейте, американский миллиардер, компьютерщик, заработавший свои миллиарды, думал похоже: “Если бы я разорился, то жил бы так же, как и живу”. И детям решил оставить всего 5 процентов капитала, а остальное отдать на благотворительность. Оно и понятно — детей пожалел...

* * *

Хорошо помню, как под вечер, в день тридцатисемилетия вышел во двор покурить. Небо серенькое, но высокое, и журавли в нём летят-улетают. И подумалось почему-то, что возраст у меня теперь вот как раз пушкинский. С тех пор и стал иногда отмечать — на десять лет мне больше, на двадцать... А теперь вот на сорок почти. А что, если б Пушкину кто-нибудь, сказал (гадалка, положим), что он проживёт столько? Обрадовало бы его такое? И ведь не скажешь с уверенностью: конечно! Скорей всего, отмахнулся бы, как от чего-то невозможного, да и ненужного. Куда мне берем такое, сказал бы. Что делать буду? Рука отсохнет бумагу марать. А долгов сколько накоплю, детей, внуков? Деваться будет некуда! И расхохотался бы тут...

* * *

В старости чувство самости, своего “я” постепенно ослабляется, теряя чёткие границы. Смотришь вокруг и ощущаешь невольно, что ты и вон та бабочка порхающая, и кошка пробежавшая, и молоденькая березка под ветром. И даже вон то, дальнее, белое облачко круглое... Чувство приятное, но чуть и тревожное. Куда ж это я, такой для себя важный, уходить словно бы начинаю? А туда, в природу, пока не сольёшься с ней вполне. Что-то буддистское в этом есть, но ведь и христианское: тело — в землю, а душа — к Богу...

* * *

“Я думаю о вечности и о том, чтобы починить крышу”. Слова настоятеля буддистского монастыря. Как хорошо! Такое и для православного монаха

годится. Да и для любого человека вообще, даже и для атеиста. Глядишь, путь к Богу с этого и начнёт...

* * *

Пятьдесят пять лет полёту Гагарина. Хорошо помню этот прекрасный, солнечный апрельский день. Вышел из института, иду неспешно, по сторонам глазею, и вдруг крик сзади: “Человек в космосе!” Вернулся, а перед институтом уже толпа небольшая, кричат, руками машут, лица у всех с безуминкой восторженной...

Когда же о гибели Гагарина узнал, то первая мысль была: “Да не может быть!” Многие, наверное, так же подумали. И ещё говорили одинаково: “Надо же, не уберегли!”

А сейчас думаю, да и тогда мелькнуло: какая смерть хорошая, мгновенная, солдатская, как в бою... И всю его жизнь она правильно как-то зациклила, героически вполне. Не годится, конечно, так думать, кощунственно даже, а всё равно думается. Был он, Юрий Алексеевич, явлен нам как чудо-человек, да и взят потом. “Пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших”.

* * *

“Иметь слабость” к кому-то, “питать слабость”. Странноватые выражения, а ведь это о любви, в сущности, говорится. Но почему же “слабость?” А потому что слаб человек перед тем, кого любит, открыт, незащищен. И возможно использовать это в целях вполне эгоистических. Не заметит человек по “слабости”, а если заметит, то простит. Кто-то и пользуется такой “слабостью”, конечно, и как же это нехорошо, низменно, подловоато...

* * *

Сомнение в истинности своей веры в Бога беспокоит многих, если не большинство. Тут мысль Толстого может несколько успокоить и утешить: “Искать Бога — значит уже иметь его”. И Чехов, подобные сомнения знавший, ему вторит: “Надо верить в Бога, а если веры нет, то надо её искать, искать и искать, одиноко, один на один со своей совестью”. Из письма к Мирлобову, но это и ко всем-всем можно обратиться... Вера не отметка в биографии — вот теперь верю! — а усилие бесконечное. И опять Чехов помогает: “Между верой и неверием лежит громадное поле, которое всю жизнь проходит истинный мудрец”. Вот только бы не ослабеть, не упасть на этом пути...

* * *

В первые послевоенные годы, помню, была процедура, ритуал важный: “заклочаться на сорок”. Двое цеплялись мизинцами, а кто-нибудь третий разбивал сценку и что-то вроде подписания договора получалось.

Вариантов было два: на “сорок семь” и на “сорок восемь”. С такой расшифровкой: “сорок семь — дели всем”, и “сорок восемь — половину просим”.

Вот и выходил кто-нибудь из дома к компании со съестным в руках, ему и кричали то “сорок семь”, то “сорок восемь”. И надо было съестное это (чаще всего кусок хлеба, посыпанный солью или сахаром) делить соответственно договору.

Вот вспоминаю до мелких подробностей, и что-то такое милое, наивное, братское во всём этом есть, умилиться впору. А чуть поглубже взять, такое горькое и тяжкое...

* * *

Во многих истинно талантливых стихах можно ощутить нечто Боговдохновенное, Божественное, потому и чтение их, хоть вслух, хоть про себя, близко стоит к молитве. Душа по молитвенному настраивается. Вот и хорошо, вот и надо в подходящую минуту вспоминать, читать их и так словно бы молиться. Косвенно, чуть-чуть...

* * *

Поколение моё уходит всё очевиднее. Поколение людей, которые основную, самую деятельную часть жизни прожили в Союзе, при власти советской. А к иной, новой жизни многие так и не приспособились, не привыкли по-настоящему. Вот и живут, словно десант, из тех времён в теперешние заброшенный.

Есть у нас в городе несколько кафе и пивных, которые содержатся на прежний, такой давний уже, советский лад. Всё там явно похуже, чем в обычных теперешних заведениях, но зато как-то родней. Посидел на днях в таком, чувствуя себя помолодевшим лет на тридцать. Даже obsługa выглядела и вела себя по-старинному, как “тогда”. Возможно, что всё это делается и подбирается специально, для привлечения именно “десантников” советских.

Но одна уступка новым временам в пивной всё-таки была — туалет работал. Раньше такое довольно редко бывало, попил пивка влaсть, а отливать идти за угол...

Много было плохого и просто ужасного при советской власти, но много и хорошего, и очень хорошего даже. Для меня самым лучшим было ощущение семьи. Страна — семья, народ — семья. Есть в этом и теньевые, тёмные стороны, но света всё-таки больше.

Вернуть всё? Да я бы первый не согласился. И всё-таки так жаль великой, небывалой той страны, подобной которой никогда и нигде больше не будет.

* * *

Первые фиалки у нас в овраге появляются из года в год в одних и тех же местах. В том, как они видятся на крутом склоне среди серой, прошлогодней травы есть что-то таинственное, сумеречное, предвечернее даже в полдень. И что-то женственное, мысль о свидании вызывающее. Ты уже пришёл, и она должна прийти вот-вот...

Не раз приходилось читать о “фиалковых” глазах, а в жизни я такие видел только у Ивана Трифоновича Твардовского, брата поэта. И пора была самая фиалковая, конец апреля, и место удивительное — родной его хутор Загорье, который он возрождал на месте сожжённого в войну. Такие были у него глаза, что не верилось, — не может таких быть... Но как-то и к месту и ситуации они оказывались, напоминая о фиалках на старом, давно заброшенном пепелище...

Мы (небольшая писательская компания-делегация) застали Ивана Трифоновича в столярке за сколачиванием ящиков под помидорную рассаду. И внучка лет пяти была с ним, светлоглазая и не отходившая от него ни на шаг.

В углу на фанере виднелась аккуратная и довольно большая горка земли, и Иван Трифонович пояснил, что живёт здесь первую весну, хорошей земли для рассады под рукой нет, а у соседей просить неловко, едва тут появившись. Вот и набрал земли из-под ёлок в лесу — как раз то, что нужно.

И в столярке, и за осмотром возрождаемого по его рисункам-чертежам хутора, и за обедом потом он поражал особенным каким-то благородством облика, повадки, сдержанностью и краткой точностью речи.

О младшем брате Александре говорил с бережной грустью, с паузами, глядя куда-то мимо нас фиалковыми своими глазами. Рассказал, в частности,

что брат как-то признался ему, что порой жалеет, что стал поэтом, а, к примеру, не столяром, как он.

По одному этому можно было понять, как же ему бывало трудно и жить, и писать. Но ведь и судьбе брата-столяра трудно было позавидовать: раскулачивание, высылка на Север, война, плен, лагерь...

Несколько лет спустя я прочитал воспоминания Ивана Трифоновича о жизни своей и о знаменитом брате своём — прекрасная, талантливая проза. И вспомнился он живо, такой особенный и значительный. Особенно глаза...

* * *

Моменты счастья. Какие разные они! Вот один, который вспоминается почему-то всю жизнь: завод, ночная смена, вышел из цеха отлить на волю. Запах железа на лёгком морозце, влажные звёзды, апрельская чудная ночь, скоро домой поеду, Ирину (жену теперешнюю свою) увижу. Вот что тут сошлось? А ночь, погода, предвкушение встречи, предвкушение всей жизни впереди...

И ещё из той же поры: засыпаю, как всегда ночью, зверски голодным и вдруг, словно дуновение счастья: скоро, вот-вот, будет утро, заводская столовая, и я возьму винегрет, два вторых и два стакана алого киселя...

Из самого простого делается лучшее счастье чаще всего. А если из чего-то “повыше”, то в нём уже некая зыбкая ненадёжность сквозит...

* * *

Как много в дневниках позднего Толстого записей, в которых он обличает свою греховность. И в выражениях по этому поводу совершенно не стесняется. “Ну, и гадина ты, Лев Николаевич”, — например. Такое и записывать неловко... То ли дело герой его великого рассказа “Хозяин и работник” Никита. Тот, замерзая и готовясь умереть, подумал: “Известно, грехи. Да что же, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня Бог сделал”. Неплохо бы и Толстому от такого отношения к грехам взять хоть немного, полегче бы ему стало. Только вот грех-то у его Никиты был, понастоящему, всего один — запои редкие. А в остальном — святой жизни человек, чего про Толстого не скажешь...

* * *

Совершенно поразителен взгляд правнучки Анюты, младенца грудного. Смотришь ей в глаза и оторваться не можешь. Не говорит ещё, ничего почти о мире не знает, но кажется, знает и понимает всё. И думается, что во взгляде её именно тот “свет разума” есть. Именно в нём очевиднее всего выражена Божественная природа человека. С возрастом этот свет Божественный тускнеет постепенно, у всех по-разному, житейским и бытовым налётом покрываясь, но совсем не исчезает никогда. А у некоторых, очень редких людей держится в полной почти силе до конца...

Вспоминается возрастное изменение взгляда у внуков. Замена знания “всего” на знания частные, конкретные. Необходимая для жизни замена, но ведь и какая грустная. Словно ангел постепенно исчезает из дома, и хочется его как-нибудь придержать...

* * *

Впервые побывал с женой внука Соней и правнучкой Анютой на воскресной службе в нашей ближней, недавно построенной, церкви Вознесения

Господня. Очень она подходит Калуге с её репутацией космической и стоит на хорошем месте.

Церковь была полна, но без тесноты. Молодёжи, неожиданно для меня, оказалось едва ли не большинство. И очень много детей. Радует это задумчивой, глубинной какой-то радостью, как признак благополучия в городе, народе, стране. А ещё и стены, и купол церкви изнутри безупречной, снежной белизны, и хор звучит сверху, с неба как будто...

И постоял я с Анютой на руках, запах её младенческий, запах жизни самой, чувствовал, личико её видел почти на расстоянии ресниц, хор сверху слышал, и всё это было, как чудесный сон.

Есть поверье, что хорошо на большой православный праздник умереть — на Пасху, на Рождество... Ну, а если в церкви, во время службы — ведь случается и такое... Тоже, пожалуй, не худо, только вот службе помеха, и людям окружающим хлопоты...

* * *

Фильм по ТВ: волчье логово, волчица, истощённая крайне, волчата, чуть живые от голода, а потом погоня волчицы за таким же истощённым песцом. Север, льдины у берега, по которым они и бегут, обрываясь временами в воду. Схватка за жизнь смертельная...

Показывают подобное нередко, и всегда сочувствуешь тому, кто пытается спастись, а тут какая-то сшибка получилась: болеешь за обоих одинаково. Типичная, до предела обнаженная, трагедия бытия. И у людей так — компромиссного выхода нет, и кто-то должен погибнуть. Кто? А тут уже не сами люди решают, а рок, судьба, Бог...

* * *

Несколько раз сообщалось в СМИ, что в недалеком будущем появится лекарство от старения. Будем жить и умирать в расцвете сил, молодыми: от болезней, от случаев несчастных, по воле собственной... Есть и животные не стареющие, киты, например, так что дело это вполне реальное. Казалось бы, ничего лучшего и не придумать, а мне вдруг, и совершенно неожиданно, стало грустно. Старость нелегка, слов нет, но ведь есть в ней нечто и хорошее, необходимое даже. Облегчение от выплаченных долгов перед близкими, родными людьми и обществом в целом, покой (относительный, конечно), свобода располагать собой, как хочется, да и просто возможность беззаботно погулять и на лавке посидеть где-нибудь в сквере или в саду собственном. Каждому, пожалуй, в житейской, рабочей запарке и такого, и иного ещё хотелось, и вот теперь все это может ускользнуть, исчезнуть. Будешь молодым и в 80, и в 90 лет, и дольше. А, значит, дела, заботы, желания, влечения, страсти плотские и душевные будут тебя по-молодому всю жизнь сопровождать. И терзать, конечно. Вот это-то и худо, потому, как нужна перед смертью некая переходная, буферная полоса. Дух перевести надо, оглядеться, прожитое вспомнить неторопливо, оценить его по возможности. Да и мало ли что ещё... И этого всего лишиться? Конечно, грустно и жаль. Но ведь можно и не употреблять волшебное лекарство или бросить его, когда быть молодым нелегко станет. Уверен, что такие люди найдутся, и немало...

* * *

Чего только не придумано людьми в области удовольствий, наслаждений любовных! Если собрать описания их и изображения, целая библиотека получится. И все они, по-моему, перекрываются строчками Фета: “В моей руке — какое чудо! — твоя рука...”

* * *

“Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слёзы первые любви”. Чудесные стихи! И как свободно сказано про “слёзы первые любви”, словно это было в те, блоковские, времена совершенно понятным, едва ли не обыденным делом. А теперь? Бывают ли теперь такие слёзы? Посомневался, а потом вспомнил, что количество надписей “Маша, я тебя люблю” на стенах, заборах, асфальте за полстолетия наблюдений не уменьшается, и решил, что бывает. Должны быть, иначе дела наши плохи...

* * *

Томимся мы на свете, всем такое знакомо. Сказано об этом и в литературе не раз, и в Библии, Экклезиастом: “Всё суета сует и томление духа”. И чисто материально, физиологически мы тоже “томимся”, то есть очень медленно горим без огня, превращая пищу в энергию жизни.

Но ведь и вспыхивает в нас огонь временами и горит-горит: в любви и в творчестве. Вот тут-то томление наше, наконец, прекращается, но лишь на время. Тогда и думается — не лучше бы сгореть...

* * *

В который уже раз перечитываю “Анну Каренину” и, похоже, в последний. Впервые ясно представилось, что некоторые так называемые “проходные” места романа мог бы не хуже написать и другой талантливый писатель, но есть места, сильные лишь Толстому, да и то с Божьей помощью. Сцена примирения Каренина и Вронского у постели умирающей Анны, например. Боговдохновенный текст, да и суть его глубоко христианская. Недаром Достоевский восхищался этой сценой и считал её истинным концом романа. Ну, а Толстой поступил по-толстовски и ещё почти столько же написал. И любимую свою Анну не пожалел, послал, в конце концов, под колёса... Сцена эта тоже Боговдохновенная, но с каким отблеском мрачным, красным и страшным, как пожар в ночи...

* * *

Таинственная буддистская нирвана... Ближе всего к пониманию сути её подошёл Толстой в гениальном по глубине описании смерти князя Андрея, сделанном так, словно тот не умер, а именно в нирвану ушёл. И ещё Лермонтов с его: “Я б хотел забыться и уснуть! Но не тем холодным сном могилы...” Дальше описание не жизни и не смерти, а некоего промежуточного, третьего состояния, сна волшебного, в котором и “сладкий голос”, поющий о любви, и шум дуба под ветром... Может, она, нирвана, такая и есть?

* * *

Окраина наша активно застраивается в последние годы, и среди строителей много мигрантов из Средней Азии, таджиков и узбеков. Всегда смотрю на них с особенным интересом — совсем иной, далёкий, в общем-то, народ. И вот за всё долгое время наблюдений ничего плохого с их стороны не замечал. Всегда трезвы (один только раз хмельного видел), вежливы, постоянно играют на нашем стадионе в футбол, крича при этом почти непрерывно, как грачи весной. Даже мило. Редко-редко наши, русые или белокурые

головы среди их чёрных мелькают, что отмечаешь с некой даже тревогой, болью почти...

Некоторые из них убирают магазины, дворы, улицы и делают это прекрасно. Даже стык между бордюром и асфальтом дороги бывает аккуратно прочищен, чего не видывал до них никогда.

Пришлось наблюдать и кое-что необычное и даже трогательное. В одном бойком, людном месте узбеки, молодая пара супружеская, похоже, устроили лоток для торговли фруктами, а рядом с двух сторон дерева, довольно уже рослые, посадили для красоты и уюта. Учитывая грунт и толчею людскую, шансов на выживание у саженцев не было никаких, что и подтвердилось вскоре. Но ведь посадили! Меня даже действие это их наивное согрело как-то.

Сын, поездивший по Узбекистану, впечатления о людях тамошних, местных, привёз самые лучшие, а видел он много и очень разное. Пожилые узбеки часто спрашивали, не возродится ли Союз? Тоже наивность милая, напоминающая посадку деревьев. А может, мудрость народа древнейшего?

* * *

Молитва Оптинских старцев не только глубока, мудра, внушительна в религиозном смысле, но и в смысле медицинском, психотерапевтическом тоже. При разнообразных невротических состояниях должна хорошо помогать, в чём я, психиатр и психотерапевт с большим стажем работы, совершенно уверен. Да и являет она собой психотерапевтический шедевр, и автор её неизвестный должен был огромным даром врачевания словом обладать. Скорей всего, он был один, а назвали молитву общей по близкому, общему духу Оптинских старцев. Да просто и не могли они сложить её сообща, сменяя друг друга в течение многих лет. В сущности, всё это и неважно, был бы текст молитвы Боговдохновенным, а это как раз и есть...

* * *

“Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут... и Отец ваш Небесный питает их”. Вспомнилась евангельская эта фраза, когда за большим чёрным дятлом сегодня понаблюдали. Без малой даже заминки, отдыха бьёт и бьёт клювом, кору с засохшей берёзы сбивая. Так и летит она в стороны и вниз ключьями. Замах и удар головой такой, что впору не птице, а молотобойцу. Да он и чудиться начинает, если долго и неотрывно на дятла смотреть. Другие птицы, помельче, синицы и воробьи в основном, корм чаще всего разыскивают, перелетая, рыская по округе, семена выклёвывают, ягоды клюют. Тоже работа не из лёгких и непрерывная почти, особенно зимой. Да, не сеют они, не жнут, но пропитание добывают всё равно в больших трудах, как и мы, грешные...

* * *

Всегда при случае смотрю и слушаю по ТВ митрополита Иллариона. Удивительный человек! Ещё молод, для своего сана особенно, красив, умён редкостно и всегда просветлённо спокоен. Да ещё и композитор какой талантливый!

Недавно на вопрос, был ли Бунин истинно верующим человеком, ответил утвердительно и в подтверждение прочитал наизусть, с чувством бунинское стихотворение: “И цветы, и шмели, и трава, и колосья...” Несомненно, любит он его, что меня приятно поразило, — и моё оно из самых любимых. Даже в душе потеплело от такого совпадения...

В оценке литературного текста для меня всегда было и есть первое и оно же главное — живой он или мёртвый. И определяется это довольно быстро с десятка страниц. Бывает, правда, что мёртвый текст вдруг оживать начинает, но очень редко.

Удивительно, что и с оценкой людей нечто похожее — живой перед тобой человек или тянет от него какой-то мертвечины. И чувствуешь это тоже довольно скоро, словно по запаху какому-то. У первого он всегда индивидуальный и бодрящий, а у второго — угнетающий, застоявшийся, от которого и сам вскоре начинаешь впадать в уныние и тоску.

Люди и тянутся ко всему живому, хоть литературный текст это, хоть человек.

У актёра Виктора Сухорукова, например, жизни столько, что в нос и в голову бьёт, как хорошее шампанское...

А со стихами иное. В настоящих стихах некая тайна есть в самой их сокровенной глубине. Душа невольно напрягается в попытке разгадать её и никогда до конца не разгадывает. Как и тайну жизни самой.

Анна Ахматова в воспоминаниях о ней, не помню чьих, сказала, что Твардовский очень хороший поэт, но без тайны. Нет и нет! Он предельно конкретен, въедливо точен до самых-самых мелочей, и вот за этим-то как раз и чудится та самая тайна. Вот, к примеру, начало поэмы “Страна Муравия”:

*— С утра на полдень едет он.
Дорога далека.
Свет белый с четырёх сторон.
И сверху — облака.
Тоскуя о родном тепле,
Цепочкою вдали
Летят, — а что тут, на земле,
Не знают журавли...*

Разве нет тайны в двух последних строчках, от которых даже сердце щемит? Написано: “не знают журавли ...” И ведь мерещится: да и хотят ли знать? А вдруг знают, только мы об их знании не знаем... Если же не знают и не узнают никогда, то почему от этого так грустно-грустно...?

Ну, это случайно, вдруг, вспомнилось и подумалось, а ведь подобных мест у Твардовского не счесть...

Есть и у людей нечто похожее на тайну стихов. Достоевский ещё сказал: “Человек есть тайна”. И отношения между людьми тайна не меньшая. Любовь с первого взгляда, к примеру. Как, почему, откуда? Тайна и тайна! Для самих, так полюбивших, прежде всего...

Ничто, наверное, не меняет так резко окружающее, как первый, ночной, обильный снегопад. Отдёрнешь штору, а за окном вместо пестроты с большим уклоном в серость всё безупречно белое — земля, деревья, кусты, провода... Чудо, конечно! Ежегодное, знакомое, уже почти и привычное, но всё-таки чудо. Обновление, чистая жизни страница, творения первый день...

Правнучка Анюта, которой на днях исполнился год, увидев всё это, замерла, поражённая. И все мы, и взрослые, и старые, вот так же когда-то в первый раз замирали, точно так.

А впереди у Анюты целая большая зима, которую она впервые как следует почувствует-рассмотрит. По снегу походит и попадает в него, в руки возьмёт, снежок крошечный слепит, на вкус попробует. Как все мы когда-то, все, все...

* * *

В который уже раз присуждение Нобелевской премии по литературе поражает своей, мягко говоря, странностью. Вот теперь её Бобу Дилану, рок-музыканту и вроде бы поэту присудили. И какой он молодец! Уже месяц Нобелевский комитет не может с ним связаться и о своём великом решении сообщить. Какую оплеуху комитет этот получил и, думаю, заслуженную.

Да что там премия, с литературой дела плохи, вот беда. Читают повсюду всё меньше, а качество книг становится всё хуже. Новое, вторичное уже какое-то, одичание наступает понемногу, так, что ли?

Россия же после ухода из жизни Валентина Распутина впервые за многие-многие годы без великого писателя живёт. И без поэта. Тоже беда из того же ряда, и не меньшая...

* * *

От многих религиозно-философских книг, прочитанных в последнее тридцатилетие, остаётся в душе и живёт в ней постоянно совсем мало. Шепотка и даже меньше, две фразы всего. Бог есть. Бог есть любовь. Необходимо и достаточно.

* * *

Идёт по ТВ цикл передач “Уроки русского. Чтения”. Подольше бы он продлился...

Смотрю на днях — о Твардовском передача, и на экране — глазам не поверил! — Юрий Норштейн. Режиссёр-мультипликатор, автор “Сказки сказок”, “Ёжика в тумане”, обладатель крупнейших мировых наград в этом киножанре.

Прочитал он главу “Гармонь” из “Василия Тёркина” и несколько стихотворений (как на подбор, из моих самых любимых). Прочитал так, что лучше и нельзя. И порассуждал о поэзии Твардовского вообще. И тоже — лучше не скажешь. Сказал, что Твардовский великий поэт, которого в последние десятилетия отодвинули как-то в сторону, в тень, и что это не просто потеря, а почти культурная катастрофа — так он важен теперь для России. И ещё сказал, что Бродский и Кушнер не считали его большим поэтом, что слишком он “частушечный”...

Тут и подумаешь — какие они всё-таки разные бывают, евреи! А русские — тем более...

* * *

Марков Дмитрий Дмитриевич, Дим Димыч, “адмирал”. Адмирал из-за внешности благородно-внушительной и службы в морской авиации когда-то давно.

Знаю я Дим Димыча лет тридцать и не устаю восхищаться его натурой — неизменно, несокрушимо доброй, свежлой и тёплой. Это притягивает к нему людей, как магнит. Кажется, что побудь с ним рядом просто-напросто и легче тебе станет, если было тяжело. Ангельского чина человек, так я его для себя определяю.

Встречаемся мы не так и часто, но регулярно, и даже внуки к столу непременно приходят — с Дим Димычем побывать.

“Сел” он когда-то на 3 года за распространение антисоветской литературы, повести “Собачье сердце” Булгакова, в частности. Освободился в 1986 году и уже через пять лет был полностью реабилитирован. Некоторые люди, кстати, всё ещё отбывали срок за “Собачье сердце”, когда повесть была уже опубликована.

Антисоветчиком он никогда не был, просто обладал редкой тягой к знаниям и читал, что поинтереснее и поважнее. Пострадал, что называется, безвинно-напрасно.

Когда же вышел на свободу, никакой озлобленности на власть в нём не замечалось. Было и было, и прошло. Хотя было-то очень тяжко, после трёхмесячной “пересылки” в лагерь из СИЗО 40 кг весил...

Недавно вышла его книга “Нет, весь я не умру” — о роде Марковых в 15-ти поколениях (!) и о его собственной жизни. Прекрасная книга, а по качеству автобиографического текста проза настоящая. И вторая книга вышла одновременно — “Размышлизмы”. А правильное сказать, размышления серьёзные и глубокие о жизни и смерти, о Творце миров и человеков, о справедливости, о евреях, о музыке... Особенно о музыке хорошо получилось, предпочитаешь иной абзац и задумаешься надолго...

Читал я книги Дим Димыча, его живо представляя при этом, и вспомнил вдруг аж Исаака Ньютона, который написал, что всегда чувствовал себя ребёнком, играющим в камешки на берегу океана. Вот и Дмитрий Дмитриевич Марков, мог бы, по-моему, о себе то же самое сказать...

Да, родился он на берегах Лены, детство и юность там провёл. И золотишко мыл, и мытарства там претерпел многие и трудные. Заядлый “крымчак”, нашедший в Крыму, по его словам, “вторую Родину”. Знает Восточный Крым так, как не знает, пожалуй, окрестности Калуги, живя в ней много лет. Ездит в Крым лет уже сорок, иногда два раза в год. Даже дача у него крымского какого-то оттенка. Любит виноделие (виноград зимостойкий выращивает) и особенно винопитие. Вино у него фирменное, “Барон де Марко”, чудесное...

Что ещё? Архивист, закончивший Московский историко-архивный институт. Азартен, крепок и вынослив в походах и вообще в физической работе. И сын Андрей (мой сын) с ним не раз по Крыму ходил, и даже внуки.

А закончу я этот портретный набросок старого друга последними строчками его книги: “Старость подкралась к 87-ми годам как-то неожиданно. Старость как упадок энергии и физической силы... И от такой старости спасает только смерть. Но прав и Оскар Уальд: “Страшно не то, что мы стареем, страшно то, что мы остаёмся молодыми...”

* * *

“Живи да радуйся” — устойчивое народное выражение, пословица, в сущности. И какая глубокая! Самый центр, смысл жизни в ней обозначен, вполне доступный, пожалуй, лишь верующему человеку. Радуйся, что Бог, Отец и Творец, мир создал и тебя в нём — для любви. А вот тому, что мир и ты существуют просто так, ни для чего, не очень-то порадуешься...

* * *

Услышал на днях, как молодой лось к стоящей на дороге машине подошёл и стал “выхлоп” из выхлопной трубы нюхать. Так и нюхал, пока машина не уехала.

Вот и мы в детстве примерно так же делали. Когда, редко-редко, появлялась на поселковой нашей улице машина, то бежали ей вслед, запахом выхлопных газов наслаждаясь. Да и вообще техника тогда была у нас в большой чести и славе, особенно военная, в кино увиденная: танки, пулемёты, “катюши”...

Помню, пошёл по посёлку слух: “Игрушки в магазин привезли”. Первые после войны такое случилось. Ну, и побежали все их покупать, и матушка тоже. Кушила лучшее, что я только представить мог, — пушку, пушечку. Зелёную такую, тяжёленькую, настоящую, железную... В первую ночь я и заснуть долго не мог — всё щупал её под подушкой...

А природы прекрасной вокруг мы как-то и не замечали почти, потому что частью её себя чувствовали...

* * *

Наконец-то открыли музей усадьбу Фета в Воробьёвке, на родной моей Курцине. Очень редкий, уникальный даже он был человек среди больших поэтов по сочетанию тончайшей, нежнейшей лиричности стихов с могучей деловой, хозяйственной хваткой. Да и в армии дослужился до высокого офицерского чина, это тоже надо было суметь. Вот тебе и “Шёпот, робкое дыханье, трели соловья...”

Толстой, долго находившийся с ним в оживлённой дружеской переписке, однажды получил от Фета стихотворение, написанное на обороте хозяйственного, бухгалтерского счёта, и был этим восхищён. Счёл такое одним из признаков истинного поэтического таланта...

Будучи ярым поклонником Шопенгауэра, Фет много лет его переводил. И вот читаю я как-то этого философа, тоже из любимых, и чувствую, что качество текста вдруг меняется, художественней становясь. Оказалось, что Фет это место перевёл. Также сочетание со стихотворством редчайшее.

* * *

Приходилось когда-то рецензировать рукописи — сложное это дело, ответственное, требующее некоей особенной честности и перед автором, и перед самим собой. Тут соврать, как перед Духом Святым соврать, грех большой...

Теперь, и очень давно уже, не рукописи оцениваю, а вещи опубликованные, и только для самого себя. И чувствую, что к прежней оценке главной — талантливо или бездарно — присоединилась ещё одна, не менее важная: полезно для души или вредно? Потому что лавина прямо-таки вредного на нас рушится многие уже годы, погребая души человеческие под собой. А вот душеполезное, светлое, доброе мелькает лишь изредка...

*И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...*

Именно это Пушкин в “Памятнике” на первое место поставил, а уж он-то знал, что почём...

* * *

Жил я давно в Москве, в Институте повышения квалификации врачей на курсах долгих учился. И как раз книга моя в издательстве “Молодая гвардия” вышла. Купил я её в магазине на Калининском проспекте, натолкал в сумку, сколько влезло. Вышел, закурил в сторонке от людей, на солнышке — хорошая была минута! И книга хорошая — тяжёленькая, толстененькая, в прекрасном переплёте. А тираж такой, какого теперь и во сне не увидишь, — сто тысяч.

Что делать дальше, не медицине же учиться ехать? И поехал я в подмосковную Черноголовку к троюродному брату в гости. Родство далёкое, но по жизни мы были довольно близки, со школы ещё.

Поехал на такси, как богатый. День мартовский, солнечный, шофёр приёмник включил, и песня “Русское поле” по кабине тихонько разлилась. Совсем чудесно!

И вдруг, в состоянии таком размякшем, про брата подумал. Он-то тоже пишет упорно рассказы с юности, а напечатал всего один в коллективном сборнике. Хороший рассказ, по-настоящему хороший... Вот каково ему будет

книгу мою такую увидеть? И стало мне так, что хоть назад поворачивай. И жалко его, и даже стыдно, словно перед ним в чём-то виноватый...

В конце концов, подумал, что работает брат в Институте физики твёрдого тела Академии наук, работа, по его словам, творческая, и завидовать ему, по большому счёту, некому и нечему. А если и позавидует, и это не беда. По мысли Пушкина: “Зависть сестра соревнования и, значит, хорошего роду”.

А та “минута” у магазина очень, конечно, была хороша! Только редки эти минуты и не много в нашей душевной жизни определяют. Другое определяет, простое, повседневное: работа, природа-погода, люди вокруг, такие разные, сочувствие или даже любовь, дрогнувшая вдруг в тебе по вполне незначительному, казалось бы, поводу...

* * *

Был у нас в ракетном полку начальник штаба майор Сергеев, очень мне приятный — за юмор, за редкую в армейской среде естественность и свободу поведения. Служебные обязанности я выполнял нормально, а в остальном вёл себя довольно разгильдяйски, за что и получал от майора очередной “разнос”.

Открычался он на этот раз, помолчал, а потом сказал вдруг задумчиво: “Не пойму, кто у нас тут служит — лейтенант Убогий или убогий лейтенант”. Я засмеялся невольно, услышав такое, и он усмехнулся тоже. Тёплая такая случилась вдруг минута...

И ещё чем-то отдалённо похожее. Стою по вызову перед командиром дивизии, генералом Вишенковым. Тут же и командир полка, и начштаба. Понимаю, что обо мне был у них разговор.

— Почему двух пуговиц на кителе нет? — спрашивает генерал, морщась. Не нахожу, что ответить, плечами пожимаю.

— А если я на брюках ваших пуговицы прикажу срезать, как военнопленному?

— Я не военнопленный, товарищ генерал!

Мы встречаемся взглядами, и в глазах генерала такая усталость, такая брезгливость и презрение, что меня просто обжигает стыдом.

— Идите, даю вам последний звонок...

Следующего за последним звонком — увольнения из армии, — в которую я попал “добровольно—принудительно”, мне как раз и надо было, но разгильдяйство своё я всё-таки прекратил. Взгляд генерала подействовал. Нельзя допускать, чтобы на тебя так смотрели...

* * *

Очень морозно и ветрено (редкое сочетание на Среднем Урале), иду под луной вдоль состава с не зачехлёнными танками на платформах. Запах металла от танков, такой явственный на морозе, и так от него тревожно и напряжённо. И Твардовский вспоминается:

*Как прохватывает ветер, как луна теплом бедна,
И как трудно всё на свете: служба, жизнь, зима, война...*

Войны, к счастью, нет, а всё остальное, как у меня в эту минуту...

* * *

Из армии я всё-таки уволился. Очень уж несовместимой с моими литературными делами она оказалась. Видел потом приятелей по общему “призыву” на институтских встречах — подполковников и даже полковников. Все были довольны — служба ясная и простая, впереди — хороший пенсион и не

старые ещё годы. Что ж, кто любит арбуз, а кто арбузные корки, есть такая поговорка. Писательство для меня ближе к “коркам” стоит: дело тёмное, зыбкое, одинокое, душу изматывающее. Но любимое...

* * *

Не по мне пришлась армейская служба, а вот психиатрическая больница, работа в ней многолетняя психиатром и психотерапевтом вполне оказалась впору.

И слышал, и читал, что некоторые, редкие, конечно, люди, впервые попав в монастырь, очень быстро понимают, чувствуют, что хотели бы здесь и остаться, и жить-быть. И монахи таких выделяют своим наметанным глазом. Рассказывала одна знакомая, что ей в монастыре так было и сказано: “Ты наша”. Она согласилась искренне, но в монастырь всё-таки не ушла...

Вот и я, студентом ещё впервые попав в психиатрическую больницу, почувствовал, что именно здесь и хотел бы работать. Душу больным лечить, а не тело.

Современных эффективных лекарств тогда не было, и больные выглядели весьма живописно и вели себя весьма вольно. Мягко говоря.

Помню больного в мании, который, увидев нас, студентов, встал на кровати и начал, как на митинге, нечто вроде лозунгов выкрикивать. Кое-что запомнилось дословно: “У свободы крылья велики, но не сладят с ними дураки... На станцию Воронеж-второй пришёл эшелон лаптей! “Дар напрасный, дар случайный” — всё равно их носить не будут!”

“Больной-то больной, а говорит как остроумно”, — так подумал я...

Никогда потом не жалел, что стал психиатром и психотерапевтом. Да и писательству это чем-то помогало, пожалуй, тайно, глубинно и косвенно...

Вообще говоря, психиатрия интереснейшая и удивительнейшая область медицины, давшая миру не только великих врачей, но и врачей-философов, таких, как Фрейд, Юнг, Адлер. Да и писатели ею нередко весьма интересовались — Толстой, Достоевский, Чехов...

* * *

Первая редакция, в которую я вошёл, уволившись из армии, была редакция журнала “Новый мир”. Волновался, конечно, самого Твардовского можно было встретить и ещё многих, многих...

Уютно мне там показалось: деревянная лестница на второй этаж, старушка на диване, спросившая, кого мне надо, редактор Инна Борисова, сидевшая у настольной лампы с серым вязаным платком на плечах... В приоткрытую в соседнюю комнату дверь был виден такой же полумрак и человек, склонившийся над столом у настольной лампы. По стенам — шкафы с толстенными папками, такие же папки на столе, на стуле в углу. И совершенно тихо, только страницы перелистываемой редактором рукописи шуршат.

Вот тогда я, второй раз в жизни, после посещения психиатрической больницы, почувствовал, что это всё — мой мир тоже. Здесь я хотел бы уж если не быть, то хотя бы бывать...

Редактор прочитала мой рассказ прямо при мне и оставила “для дальнейшего рассмотрения”, пообещав сообщить о его судьбе. А судьбу его я сам узнал месяца через два, на лыжной прогулке в лесу от соседа — поздравил с рассказом в газете “Труд” и с премией за него. Мне это в первый момент показалось бредом, но всё совпадало: имя, фамилия и заголовок рассказа. А через час примерно я уже и газету в руках держал (предновогодний номер!), и рассказ свой читал — первую публикацию в жизни...

Спасибо Инне Борисовой, огромный какой она мне сделала подарок, да ещё к Новому году! Оказалось, что в газету, на конкурсе рассказов, она рассказ мой передала...

А потом жил я целых 15 лет в двух моих “параллельных” мирах — психиатрическом и литературном, с “женой” и “любовницей”, по-чеховски если сказать...

Понятие же “мой мир”, “мой человек”, “мой поэт”, “мой город” так и осталось для меня на всю жизнь важнейшим. И нет больше, тяжелей и опасней ошибки, чем принять чужое за своё...

* * *

Посмотрел дом внука, почти уже готовый для жизни в нём. Близкий пригород, прекрасная природа, и дом прекрасный, просторный, с “запасом” на рост семейства сделанный. Чудо чудное хоть снаружи, хоть внутри.

К концу осмотра, повосхищавшись искренне и вслух, и молча, вдруг спросил себя: хотел бы я жить в таком вот доме? И вынужден был ответить: нет. Самому странно, диковато даже это показалось, но потом понемногу и понимание пришло. Не по Сеньке шапка, если кратко это понимание выразить. Не привыкли мы, наше поколение, к таким домам, а привыкли к домишкам, “углам”, комнаткам, вмещавшим две кровати и тумбочку между ними. Родной мой дом-домишко, например, состоял из комнаты, кухни и коридора. А жили в нём то вдвоём с матушкой, то вчетвером, а одну зиму даже и вшестером. И никаких неприятных воспоминаний во мне эта теснота не оставила, даже ссор не припоминается. Наоборот, было что-то приятное в этой тесноте, душу греющее. И в общежитиях потом, в больших комнатах, буквально кроватями набитых, я совершенно от этого не страдал, воспринимая многолюдье как некий театр интереснейший. И сколько о людях узнал очень важного из-за этой тесноты!

Любопытно, что, начав получать в 70-е годы квартиры при массовой хрущёвской застройке или собственные, основательные уже строя дома, люди часто не могли “освоить” всю их жилплощадь, оставляя комнату — “залу” — в парадно-нежиллом виде. Вроде музейчика такого, напоказ, для гостей. Много раз такое видел. А ещё видел фотографию землянки семьи Гагариных в деревне под Гжатском. Всё там было сделано из брёвнышек и жердей довольно умело. И на Курщине моей после войны землянки не были редкостью. Принимала к себе, грела людей земля-матушка. И Юрий Гагарин сначала в домишко из землянки перебрался, а потом уж в космос залетел...

* * *

Снежное поле искрится под солнцем, в воздухе колкая смесь морозца и тепла, небесная синева такой силы и плотности, что её хочется потрогать. Впереди припорошённый снегом высокий и длинный стог, и я иду к нему на лыжах — постоять рядом, привалившись, отдохнуть.

Когда же подъехал, место затишное, солнечное выбрал. Прислонился плечом, спиной к нему, глубоко вдохнул, как в хату нашу курскую вошёл, в запах её соломенно-хлебный. Теперь расслабиться нужно так, словно ты не в поле, а в доме родном. Добрался наконец...

Дремать можно и с закрытыми глазами, в красноватой под веками теплоте, но и с открытыми тоже. Белое, искристое поле, неба синева, соснячок зелёный напротив неподалёку, солнце, греющее бережно и мягко, не мешают дремоте, а даже помогают ей. Раскрываешься как-то навстречу всему этому и в него понемногу уходишь, становишься им... В конце концов, не только задремал, но, кажется, и заснул с открытыми глазами, ушёл-улетел куда-то далеко-далеко, со всем родным вокруг перемешался...

Очнулся от того, что падать стал, еле ногу успел в сторону падения выставить. Осмотрелся очумело и какое-то мгновение не мог понять, что со мной и где я только что был? В краю каком-то райском?..

* * *

Четверть, примерно, калорий, которые мы вводим в себя с пищей, расходуется мозгом. Как возможно такое, если он, мозг наш, лежит спокойно в черепной коробке, работает сам в себе, никакими внешними, заметными действиями эту работу не проявляя. Да ещё и забирает на эту работу столько энергии — четверть от этого вот куска хлеба, этого вот куска мяса... Забирает и преобразует её, энергию, в нечто умственное, душевное, духовное: в формулу, в стихотворение, в музыку, в молитву. В чувство любви, наконец, к Богу и человеку...

Наука, наверное, даёт какие-то ответы на этот вопрос, но мне не очень хочется их и узнавать. Пусть это останется тайной и чудом. Чудом единства глубинного материи и духа...

* * *

На днях собралась вся наша большая семья за новогодним столом. Именно вся-вся, что редко бывает. Вот и хочется написать про всех, хотя бы кратко.

А началось 62 года назад с нашей с Ириной, для обоих первой, любви. Я даже повесть написал об этом, опубликованную, кстати, в “Нашем современнике”: “Ангелы на велосипедах”. Ангелы — это мы как раз и есть, только ангельского в нас ничего уже, пожалуй, и не осталось, обросли грехами за такой-то срок. А любовь, как ни странно, цела, только изменилась сильно в лучшую, по-моему, сторону. Любовного эгоизма в ней теперь нет.

Главная черта характера Ирины — помощь и служение ближним, — как была в ней с самого начала, так и осталась, разве что возросла. Пятьдесят почти лет служила она семье и пациентам как врач, а теперь только семье служит, если не считать случайных консультаций. Внешне за время нашей общей жизни изменилась мало, постарела разве что...

Сын наш Андрей — хирург и писатель. Или писатель и хирург, можно и так сказать. Как он находит время и силы для совмещения двух таких тяжёлых и серьёзных дел, для меня тайна. Да и для него самого, может быть...

Коллеги мы с ним и по делу врачебному, и по писательскому, а ещё и старые, близкие друзья. Хорошо, слов нет, но и трудновато — зона близости очень уж велика. Что ж, за всё приходится платить, даже и за это...

Самое лучшее для меня — посмотреть на сына, человека в годах, и вспомнить вдруг головастого, серьёзного мальчика лет девяти: то “дядю Баха”, лежа рядом на диване, слушаем, то суслика из трёхлитровой банки на волно на тимской нашей горе выпускаем...

Было время, когда Андрей писал ранними утрами в соседней комнате. Проснусь, увижу полоску света под дверью, и так мне делается спокойно и надёжно: “Солдат спит, а служба идёт”. Да и засну опять...

Внук Дмитрий. Мужчина во цвете лет, если сказать по-старинному. Учился на хирурга, учитывая интернатуру и ординатуру, девять лет. С учёбой работу массажистом много лет совмещал, последнее место такой работы — московский фитнес-клуб “Марк Аврелий”. Интересно, многие ли члены клуба знали, что это за “Марк” такой?

Есть у нас птица деревянная, под потолком на нитке висящая. Маленький Дмитрий любил, сидя у меня на руках, “гонять” её, как мы с ним говорили. Он дул изо всех сил, а она при этом качалась и кружилась, к нашему общему удовольствию. Как-то сидим с ним недавно, я птицу эту взглядом зацепил и подумал, что теперь впору ему меня поднять, да к птице и поднести. Я бы и подул с удовольствием...

Как-то жена Дмитрия Соня сказала мне, что он по натуре трудоголик. Тревожно так сказала. Я согласился с этим и утешил её, как мог. Да, весь он во врачебной своей работе по уши, и это хороший способ жизнь прожить. И людям нужный, и Богу угодный...

Внучка Дарья вслед за братцем по жизни идёт, на вторую половину учёбы в Смоленской медицинской Академии перевалила недавно. И тоже мас-сажистом попутно стала, только работает медсестрой, дежурит по ночам в больнице. Учится так усердно и успешно, что я даже придерживать её в этом пытаюсь, хотя в душе доволен. За что же ещё и держаться в жизни, как не за работу, которая и интересна, и нужна.

Славная она девица, видная собой, как говорится. Настоящая русская краса! А ведь не так давно и в садик, и в школу мы с ней вдвоём ходили, и птицу нашу “гоняли” с азартом...

Невестка Елена, жена сына, из классической рабочей семьи, о чём догадаться трудно, потому что и выглядит, и держится, и говорит она так, словно в пансионе для благородных девиц обучалась. Педагог, мастерица на все руки. В прошлом мастер спорта по акробатике, “верховая”, что особенно опасно. Холодновата по натуре, но меняется неузнаваемо, “тает” прямо-таки, когда внучку Анюту на руки берёт...

Соня, внука жена, эколог и великая любительница лошадей, как, кстати, и Дарья. Даже на ипподроме бывает, где за чистку лошади (это тоже удовольствие) на ней же и поездить разрешают.

В Соне столько света и тепла, что на всех нас хватает и даже остаётся. Первое для неё дело — человека обнять. Кажется, дай ей волю, она бы и на улице всех подряд обнимала...

Анюта, дочь, в этом чем-то её напоминает: наберёт игрушек полные руки, а потом бродит по квартире и всем их раздаёт...

С правнучкой Анютой мы встречаемся каждую неделю, и меня неизменно удивляет перемена, “прибавка”, которая возникает в ней за такой короткий срок. И вдруг думаю: а у меня “убавка”, может быть, такая же? Что ж, хорошо, если так, для общего равновесия и гармонии жизни...

На этот Новый год подарили мне фотографию, Дмитрием сделанную, одну из самых главных теперь для меня вообще. Сидим мы в обнимку с Анютой, и такое блаженство на лицах обоих, райское прямо-таки!

* * *

Отстоял с сыном и внучкой пасхальную службу долгую. Оно и трудно-вато, оно и хорошо этим как раз. Не только помолиться, но и потрудиться надо для Господа. Молитвенный труд, так именно.

Были моменты удивительные, когда чувствовал себя не снаружи, а внутри службы, словно на корабль некий всходил и плыл на нём вместе со всеми в какую-то влекущую, нужную, душу оживляющую, сторону. Туда, где Благо Божье, плыл — так казалось. Потом такое вдруг обрывалось почему-то, и надо было усилием души вновь на этот невидимый корабль попадать и плыть на нём как можно дольше...

* * *

Тоска... То тоска быта, то тоска Бытия. Нет числа видам её и оттенкам, но есть всегда и общее — нехватка чего-то неопределимого, но важнейшего.

А ещё есть иногда в ней, тоске, сильнейший посыл к работе. Вогнать её в усилие рабочее надо и тем хотя бы на время приглушить. Пусть она мотором или, точнее, горючим для мотора рабочего послужит. Много хорошего с её посылки и на её энергии было создано людьми. Даже и творческого в том числе...

Владимир Набоков так о тоске написал: “На самом глубоком и мучительном уровне — это чувство сильнейшего душевного страдания, часто не имеющее объективной причины”. А причина-то есть всегда, только прикрыта морокой повседневной бывает. Богооставленность это. Тоска богооставленности, так скажем. То ли человек от Бога отвернулся, то ли Бог от человека — и вот она, тоска! Высший смысл всего сущего теряется, связи между

предметами и явлениями рвутся, и всё заваливается в кучу ничтожного и случайного мусора. И вокруг человека, и в душе его. Вот это и есть главная причина и “портрет” тоски. Средство же против неё, кроме работы, и самое главное — молитва, связь человека с Богом восстанавливающая.

* * *

Много земли пришлось на долгом уже веку перекопать — и садово-огородной, и строительной, и иной. Люблю это занятие смиренное, а началась любовь с длиннейшей канавы, которую я в 15 лет на нашем поселковом кирпичном заводе выкопал. Очень уж хотелось часы “Победа” купить, вот и подрядился. Оплаты как раз на покупку и хватало, а представление о том, как придут осенью в школу “при часах”, весьма к этому делу подталкивало.

Канаве моей предполагалось быть в сторонке от завода, и это меня обрадовало, потому что сам завод показался настоящим маленьким адом, только в печи сажали не грешников, а кирпич-сырец, который раскалялся там до красноты почти прозрачной. Работали у печей одни женщины, и это совсем уж поразило — и дома они при них, и здесь, значит, тоже...

Копать огород было делом привычным, и на что-то похожее я рассчитывал и тут, но сильно промахнулся: после тонкого слоя чернозёма и песка пошла матёрая глина такой твёрдости, что лопата её почти не брала — только жалобно дребезжала, отколупывая маленькие кусочки глины. Посидел я, подумал, да и пошёл на завод лом добывать.

Лом мне дали, а добавок ещё и рукавицы брезентовые. Спасибо тому мужичку щупленькому, который молча мне их сунул! Вот вспомнил это сейчас и такую живейшую благодарность к нему вдруг почувствовал! Как-то он жизнь прожил, такой догадливый и добрый, и где лежит теперь, в какой земле-глине? Да в той же самой, которую я копал, скорей всего — кладбище наше поселковое неподалёку от завода было...

Канаву я копал почти месяц, да так и не докопал — школа начиналась. А денег, странно, получил даже больше, чем рассчитывал. Часы “Победа” купил и пощеголял ими властью, пока на стадионе из кармана сброшенных перед бегом штанов их не вытащили... Ну, это уже другая история, а вот про канаву мне главное хочется сказать: полюбил я её к середине работы. Проснулся как-то утром и чувствую — радостно на душе, невесть почему. И понял вдруг причину с изумлением — сейчас позавтракаю и канаву свою копать пойду! Я как-то себе даже и не поверил, но подобное повторилось опять и опять. Полюбил, хоть никому об этом не рассказывал — засмеют...

А ведь работа весьма тяжёлая для подростка. Особенно с ломом, с глиной: нарубишь с натугой кучку её, отдохнёшь немного и за лопату — нарубленное выбрасывать, да подальше, чтоб назад не осыпалось. И снова всё повторяется, и опять. А солнце палит вовсю, а ладони саднят распухшие, хоть и в рукавицах. Если же отдых подольше, с лежанием в тенёчке, то еле-еле встаёшь потом: такая в теле слабость и ломота... И всё это вместе было так трудно, и так странно хорошо!

С годами, копая землю снова и снова, я догадался-таки о главной причине своей так внезапно возникшей любви. Она проста и состоит из сочетания физического усилия, всегда почти мне приятного, с пустотой в голове. То есть не полной пустотой, а возможностью свободно думать о чём только хочешь. Хочешь — об однокласснице какой-нибудь думай, хочешь — прекрасное будущее себе сочинишь или даже стихи. И работа простая с землёй здесь не только не помеха, а помощь, мысли и картинки воображения растормаживает и подгоняет.

Вот и мог бы я, в конце концов, стать землекопом, грабарём по-старинному. Может, оно б и неплохо было, только вот вымерла эта профессия почти. Лишь бригады землекопов из Средней Азии появляются у нас порой, и канавы под фундаменты получают у них, как нарисованные — глаз не оторвать. Посмотришь, да и вспомнишь ту, мою любимую, послевоенную, похожую на солдатский окоп...

А ещё с детства полюбил бег, воспринимая его таким же простым, естественным, почти незаметным делом, как и ходьба. Если надо было приятеля навестить, в магазин за хлебом заглянуть, до пруда добраться, то я, не задумываясь, туда и бежал. Рождён, похоже, был для бега, как рождаются для него борзые собаки или лошади.

Потом был долгий период спорта, и тут я тоже, конечно, бегал и даже некоторых успехов достиг. Думаю, если б всерьёз этим занялся, мог бы, пожалуй, и чемпионом каким-нибудь стать.

Когда же спорт кончился, продолжал регулярно бегать “для себя”, что называется. Больше пятидесяти лет бегал, и это была одна из важных радостей и опор в жизни. А если с сыном Андреем бежать приходилось (жаль, не часто), то и совсем уж был полный восторг.

Вот, к примеру, одна такая пробежка летом, в нашем родном Тиму, перед обедом. Погода самая любимая — зной с сильным ветром.

Тим высоко стоит, даже с крепостью Измаил в песне про него, про Тим, сравнивается. Большая заваруха тут в войну была...

Бежим понизу: с одной стороны — гора, с другой — речка Тим. А в промежутке — длиннейшая, прихотливо изогнутая сельская улица. Всё тут на виду: и домишки, и дворы, и сады-огороды, и живность всякая-разная. То кур, купающихся в дорожной пыли, потревожим, то гусей, недовольно шипящих, оттесним в сторону. То мужичка встречного заинтересуем, и он крикнет вслед: “Динаму к ногам привязывать надо!” Догадываюсь, что это он из Райкина, из передачи недавней телевизионной нам выдал...

Андрей уже студент, да ещё и бегун-средневик хороший, и мне трудно-вато вровень с ним бежать. А не так и давно, когда мы только начинали совместные наши пробежки, всё наоборот было...

Дважды останавливаемся на минутку ополоснуться и глоток ледяной, чуть сладковатой воды сделать. Сначала у колодца с низким, над самой землёй, срубом. От него не то что уйти, взгляд оторвать трудно — так прекрасен он с его бревнами во мху изумрудном, с дном песчаным и шевелящимся, живым словно бы, от множества фонтанчиков-родничков. Потом у водокачки задержимся, давно заброшенной, с мыльным плёсиком водозабора. Он мелок, с прозрачной до невидимости почти водой и весь пестрит, сверкает россыпью разноцветных мелких камешков на дне...

Дорога знакома до мелочей и воспоминаний вызывает так много, что даже бегу мешаает, притормаживает. А то вдруг и мысль по поводу оставленной на столе работы мелькнёт дельная, хоть записывай. Одно время я даже хотел блокнотик и карандаш с собой брать, но так и не собрался — лишнее что-то в этом было и даже неприятное. Да и сам бег это испортило бы, самостоятельность и целомудренность его нарушив...

Деревня кончилась и впереди — высоченный, лобастый холм-курган оказался, цель нашей пробежки всей. Взбежали на него с трудом, с натугой и ложимся-падаем на вершине. Земли здесь никогда не пахали, и растёт на ней почти один польнок низенький, серебристый и ершистый. Запах от него, особенно на горячем ветру, лучший, пожалуй, в мире — горечи и сладости смесь. Запах жизни самой. А земля не тронута вековечно и так тверда, что, если сильно ударить по ней молотом, то зазудит, как колокол, весь курган. Так чудится...

Потом прочитаю, что как раз по этому месту, по-над речкой нашей, которая внизу просвечивает сквозь приречную урёму, проходил когда-то Муравский шлях, путь татар и ногайцев на Москву. А не так и далеко отсюда, у села Красная Поляна, где я родился, битва с татарами и ногайцами была ожесточённая и кровавая в 1709 году. Краснополянская битва, которую местные краеведы с Полтавской сравнивают. Преувеличение, скорей всего, но всё равно приятно сознавать, что вокруг не только Родина, но и история её давняя и не очень, потому что кусочки мельчайшие Курской битвы в Великую нашу войну я помню до сих пор...

Домой возвращаешься медленно, неся в себе ощущение, что мы не просто пробежались по родной земле, но и обнялись с ней...

* * *

“Бог есть любовь” — центр и основа христианства. Если так, то смысла жизни и искать нечего — он именно и состоит в увеличении любви и приближении этим к Богу. Сколько в тебе любви, настолько ты к нему и близок...

* * *

Иногда засмотришься на что-нибудь: облако, дерево, цветок одинокий и словно бы уходишь не только в это конкретное, но и в мир вообще. И не думаешь в таком состоянии ни о чём, и думаешь как-то обо всём сразу. И хорошо тебе, легко, самозабвенно, ни времени нет, ни пространства, выпал из этого во что-то блаженное, настоящее только лишь... А выходишь из него то ли усилием собственным, то ли через толчок внешний. И укол сожаления, потери всегда при этом — ведь почти в раю побывал, не шутка...

* * *

Сидел как-то на лавке в сквере и вижу: девочка лет десяти, вся в белом, на роликовых коньках катит. Чудесная такая девочка, стройная, легкая и катит чудесно. Мелькнула мимо, как ангел, и скрылась за поворотом аллеи. Сижу, жду со странным интересом и даже нетерпением, когда, сделав круг, она вновь появится. А она — и вот она, со всем её ангельским видом... Мелькнула, а вслед, почудилось, пацан мелькнул из времён давних-давних. В сером ватнике, в валенках с привязанными коньками, в чёрной ушанке, уши которой смешно болтаются на бегу. Мелькнул и исчез, а белая девочка всё ехала и ехала до своего правого поворота. Вот скрылась за ним, и я с лавки встал, пожелав ей во всём удачи...